

ЕДИНСТВЕННОСТЬ Памяти Беллы Ахмадулиной

* * *

Нет, я ценю единственность предмета,
вы знаете, о чем веду я речь.

* * *

Но этих мест владычицы морской
на этот раз не назову я имя.

Белла Ахмадулина

29-е ноября. Она только что была. А через миг передали, что ее уже нет.
Когда же передадут, что она будет?

Собственно, и так ясно, что она будет, как ясно и то, что она есть, вопреки новостям о ее уходе. Присутствие ее возрастает от часа к часу, судя по интернетовскому трафику, направленному к ней. "Она есть и будет", — так должны были бы передать эту новость. Но не передали. И это стало подтекстом.

Сегодня третья декабрь. Новость перестала быть новостью, и ее заменил подтекст. Теперь уже навечно.

Ее жизнь прошла под знаком Единственности, которая сманила меня в свою запретную зону много лет назад, уводя прочь из государства "Мы". Совершать побеги было просто: шла в Горьковку, заказывала томик ее стихов, открывала калитку и попадала в Сад.

"Брат-комната, где я была — не спрашивай"... (Б. А.).

Там-то все сразу и становилось на свои места. Знание о том, что у каждого уникальные отпечатки пальцев, переходило в осознание уникальности всего сущего. "Каждый в этом мире уникален", — нашептывал мне Сад свои крамольные мысли. "В природе не существует коллективного отпечатка, в природе существует Единственность. Она и есть источник многообразия. Единственность, а не унификация, запомни!". Ее Сад был запретным именно в силу его противопоставленности королевству Мы-чащих.

Единственность, которую она воспевала прямо и косвенно ("Нет, я люблю единственность предмета. / Вы знаете, о чем веду я речь", — Б. А.)

представляла угрозу миру, базирующемуся на коллективистских ценностях. Тем не менее, провозглашение Единственности в ее поэзии было сделано не с идеологических, а философских позиций. Именно поэтому ее вызов и был невнятен большинству, воспитанному на доступной идеологии. Для обычного читателя философская глубина ее мира осталось скрытой, а "непонятная" образность воспринималась зачастую вычурностью.

На самом же деле философия Единственности как признака Божественного была выражена не вычурным, а возвышенным, то есть адекватным ей стилем и слогом. Бог сотворяет все в одном экземпляре, от мушки до галактики, в отличие от бездушного механизма, который штампует свою продукцию. И день, который явлен Единственностью, это "Божий День". Как его Творец, он "всезнающ и всевидящ" ("И Божий День — всезнающ и всевидящ", — Б. А.). Дата как уникальное имя дня выносится в заглавие стихотворения: "День: 12 марта 1981 года". Она явно следует называнию дней в Сотворении: день первый, день второй. У нее — день двенадцатый. Только к этому еще добавляется месяц и год, словно после восьмого дня дальнейший счет дням берет на себя поэт, сотворенный по образу и подобию Божию. И таких стихотворений, где дата становится частью текста, немало. Наряду с другими метафорами, дата становится еще одним признаком Единственности. Каждый миг и объект, и существо неповторимы в Божьем мире, где "Рознь луне луна / И вечность дважды не встречалась с ней же".

Это была не просто особая поэзия, но поэзия, стоящая особняком, прежде всего, в силу отсутствия видимых связей с обыденной жизнью и ее насущными вопросами. В таком же положении была и религия, которая тоже трактовалась как оторванная от насущных проблем. Да, насущности в вопросах, поднимаемых Ахмадулиной, было мало. Это была поэзия мирозданческого толка, где бытийное преобладало над событийным. Ей никогда не были присущи ни остросюжетность политический веяний, ни прокламации любого рода, как про, так и контра.

Образы и метафоры ее поэзии базировались на безусловной системе ценностей, которую она тщательно выстраивала, следуя основным принципам безусловности (термин Арона Каценелинбойгена), заданным еще в десяти заповедях. Именно там запреты на убийство, воровство и т. п. были даны как независимые от конкретных условий. Условия могут быть разными, и они могут и оправдывать подобные действия, в случае, когда речь идет о выживании. Условные ценности понять легко, а безусловные —

сложно. Вместе с Библией было отобрано и обучение безусловным ценностям, и успешно осуществлена их подмена условными: убить врага народа или украсть у богатого считалось похвальным.

У Ахмадулиной же красота, добро и зло были представлены именно с позиций библейской безусловности. Все это поднимало ее поэзию на уровень мирозданческий. Ее образы несли в себе не только приметы времени, но и вневременную размерность, уходя корнями в библейское правремя. Так, ее елабуга, которую она пишет с маленькой буквы, из конкретного места трагической гибели Цветаевой перерастает в символ мирового зла, обретая черты зловещей парки ("ужо придет елабуга слепая"), змеи, мирового чудовища, которое посягает на жизнь Сада.

Она пишет о насущном, но с других позиций.

Игорь Шайтанов различает сонет и ренессансную новеллу по типу высокого и обыденного жанра, подчеркивая, что сонет — жанр высокой поэзии, "а ренессансная новелла — жанр, погруженный в жизненную прозу, имеющий дело с сиюминутным". И далее он пишет, что "даже когда новелла повествует о любви, что она делает нередко, то различие с сонетом не исчезает, а проступает еще отчетливее. Если сонет вдохновлен философией Платона, учением об Аморе, если он наследует куртуазной традиции Средневековья, то у новеллы иные, гораздо более бытовые корни, и в ее трактовке любовь запомнилась, прежде всего, не в своем идеальном, а в своем телесном проявлении".

По аналогии, я бы сказала, что поэзия Ахмадулиной представляла мир современный в его высоком, небытовом, идеальном проявлении. Именно в этом и заключается различие между ее поэзией и поэзией другого типа, произрастающей из бытовых, социальных или идеологических корней, где метафора служит связкой с миром "телесным", конкретным и "насущным". Не то что бы мир конкретный был неважен или неинтересен ей, но лишенный купола мирозданческой безусловности, он терял свою высшую значимость, а заодно и смысл.

Ахмадулина обогатила поэзию не только новым голосом, но и новой миссией. Это был поэт ренессанса в смысле возрождения безусловных ценностей. Пока писалась "Братская ГЭС", она создавала свой Сад, ставший ключевым образом ее поэзии. Следы его можно отыскать почти во всех ее стихах. Сад — и творец Поэта, и его творение. Пушкин, Цветаева, Пастернак не только обитатели Сада, но и его возделыватели. Сад — вечен. Поэт — "на миг", но он продолжен в Саде как месте вечной жизни Слова.

Все эти мысли, хоть и в других терминах, роились во мне, пока я читала ее сборники и обдумывала свой собственный путь. Поэзия для меня всегда пролегла в зоне вечных вопросов, а не сиюминутных ответов. Именно это и заорожило меня в поэзии Ахмадулиной, которая ощущала мир на той же волне. К тому времени я уже отказалась от возможности издания своего первого сборника стихов в Одессе, поскольку для утверждения рукописи к печати требовалось дописать стихи, которые противоречили моему представлению о миссии поэта. После обсуждения будущего сборника я пришла домой и написала:

Кто может взять вот эту руку
И возвестить: "Она — моя!"?
Лишь тот, кто циферблатным кругом
Сомкнул границы бытия.
Лишь он, тревожа снова, снова,
Событиям и мыслям в такт
Твердит усердно: "Все для Слова.
Вот так. Вот так. Вот так. Вот так".

Вопрос о книге закрылся. Какое-то время я писала в стол, но была окружена поддержкой родных, друзей и старших братьев по перу. Среди них был и редактор "Вечерней Одессы" журналист Евгений Голубовский, и украинский поэт и переводчик Анатолий Глушак, и поэт Игорь Неверов, и секретарь одесского Союза писателей Иван Рядченко, который и поднял вопрос о книге, но был скован известными требованиями времени... Кроме того, большой духовной поддержкой были мои общения с профессором по русскому символизму Степаном Петровичем Ильёвым, к сожалению, безвременно ушедшим. Любя мои стихи, он все же толкал меня в сторону литературоведения, опасаясь, что поэзия вытеснит мои литературоведческие исследования.

Работая над поэтикой чеховских пьес и в тайне мечтая о встрече с Ахмадулиной, я написала цикл стихотворений "Стихи о Саде и Садовнике", а также поэму "Лунный путь", в которых я решала для себя вопросы единственности, миссии поэта и собственного пути. В один из таких дней-раздумий я решила позвонить ей. За неимением никого другого, за помощью пришлось прибегнуть к междугороднему телефонному справочнику, который услужливо снабдил меня ее номером телефона. Я позвонила ей, как говорят, "с улицы". Но на самом деле — из Сада, и она это сразу поняла, потому что у нас не было общих знакомых. Это и было знаком Единственности, паролем, по которому гость Сада мог встретиться с его Хозяйкой.

— Верочка, приезжайте! — неожиданно пригласила меня она. Пригласила, еще не читая стихов и не зная обо мне ничего, что вне интереса Сада.

К ней можно было только по небу. Ну что ж... Кучевые кроны остались внизу вместе с Черным морем. Мы летели, летели, летели... Я летела с первой минуты ее приглашения, а Вадим присоединился ко мне уже в самолете.

Через три (о, магия числа!) дня я стояла на пороге мастерской Бориса Мессерера, той самой, на Поварской, двадцать...

Это было теплей и искренней, чем я себе представляла.

...За окном — ливень, капли медленно скатываются по лбу и щекам. Почти как в ее "Сказке о дожде", и на ум сразу приходит: "Дождь, как крыло, прирос к моей спине". Это же приходит и ей на ум — ясно без слов. Она улыбается и приглашает меня в комнату. Там — стол длинный с креслами, и все разные.

— Присаживайтесь, — указывает она на кресла с какой-то озорной улыбкой.

"Наверное, я нелепо выгляжу", — думаю, хватаясь за приглянувшееся кресло, чтобы поскорее с ним слиться. Всё в дожде. Она по-прежнему улыбается, ставит чайник на плиту, чтобы согреть дождь. У меня в руках цветы из Сада (Господи, совсем забыла!). Она берет цветы, ставит в вазу, и мы говорим о Саде, о цветах, о Цветаевой... Она приносит мне засушенный лепесток розы — "это с цветаевского места"... Мы понимаем друг друга. Лепесток — из того уголка Сада, в который я еще не заходила.

Я читаю ей "Лунный путь", "Стихи о Саде и Садовнике", и она догадывается, в какой части Сада они были написаны. Она догадывается обо всем, будто даже не догадывается, а знает. Когда я заканчиваю чтение, она пристально смотрит на меня и говорит:

— Это удивительно, но вы ни на кого не похожи.

Потом она достает с полки "День поэзии — 1984", извиняясь, что у нее нет сборника стихотворений, подписывает его — Милая Верочка, примите мою любовь и дружбу — вкладывает лепесток между страницами и протягивает мне.

Дождь прекращается. Мне пора. Сегодня у нее поэтический вечер в музее Маяковского, а день был щедро отдан мне. Пора и честь знать. Я поднимаюсь с кресла.

— Верочка, а я следила за вами, какое из кресел вы выберете, — с той же загадочной улыбкой говорит она.

Я молчу, выжидая.

— Кресло — Бориса Пастернака, — оповещает она все с той же озорной улыбкой. — Это очень хорошая примета, я загадала...

У нее счастливое лицо. Я немею. Что тут можно сказать? Хорошо, что она оповестила меня об этом после. Сидеть в кресле Бориса Пастернака перед Беллой Ахмадулиной — не слишком ли много для первого дня?

Нужно сказать, что ее замечание о счастливой примете имело прямой смысл: наша встреча состоялась 13 июля — казалось бы, несчастливое число, но перекрыто оно было счастливой приметой. Для меня же эта дата имела и еще один — скрытый — смысл: 13-е в нашей семье связано с моим отцом. 13-го ноября, накануне его совершеннолетия, фашисты разбомбили корабль, на котором он служил, и в живых осталось только два человека. Он был одним из счастливцев. Все последующие важные вехи его жизни также выпадали на 13-е. "Это все Сад, это Он связывает судьбы и звезды скрытыми символами, образующими корневые системы, из которых произрастают его деревья", — думается мне.

Вечером мы встречаемся у музея Маяковского. Билетов нет, мы с Вадимом стоим у дверей, как она и велела. Она появляется, окруженная сатурновыми кольцами поклонников, и направляется сразу к нам.

— У вас замечательный муж, — шепчет она мне на ухо. В роящемся зуде голосов ее шепот звучит как-то особенно веско. — Он редкий, — продолжает она. — Верочка, берегите его, не расставайтесь, будьте всегда вместе!

Рядом с ней — Борис Мессерер, ее замечательный и редкий муж. Это уже то, что я моментально отмечаю, взглянув на него, но в отличие от нее, ничего не говорю. Да этого и не нужно. Она читает мои мысли и согласно кивает: все, мол, так.

Потом она усаживает нас в первом ряду, который держат "для своих", и наступает Сад...

Время пролетело, но каждая минута запечатлелась в своей бездонной значимости. Она рассказывала о посещении Елабуги, о Бродском, о своем предсказании, что он непременно получит Нобелевскую, о Пастернаке, а также обо всем внутреннем, значимом и непересказуемом, как ее поэзия.

Ни о чем я ее не просила, ничего, связанного с моими планами, мы не обсуждали, а когда я позвонила, чтобы попрощаться, она вдруг попросила зайти к ней снова, чтобы взять... предисловие к моей будущей книге стихов, речь о которой даже и не шла.

Она встретила меня на пороге, улыбающаяся, и протянула мне листок с предисловием.



Слева направо: Белла Ахмадулина, Борис Мессерер,
Вера Зубарева

— Я тут все о себе да о себе, — говорит, поглядывая на меня с тем же озорством, что тогда, когда она наблюдала за мной, выбирающей кресло.

Беру листок из ее рук, читаю... Да, действительно все начинается с нее.

"Я не скучаю о своей молодости и радуюсь молодости других — мне не хотелось бы провиниться перед ними. Время,

когда начиналась моя литературная жизнь, обнаруживало и поощряло новые имена и предавало их быстрой и шумной огласке. Кроме общих обстоятельств времени мне сопутствовала пылкая доброжелательность старших маститых коллег. Энергия этой безукоризненной благосклонности и хранила, и опекала меня, как бы для своей надобности добывая мои первые успехи. Лишь много позже я поняла, что видимая поблагка судьбы на самом деле была важным и суровым испытанием. Меня любили липы Тверского бульвара, многие люди взяли на себя труд сочувствия и соучастия, но некая строгая неусыпная звезда следила за мною с тревогой и уже сожалением — хорошо, что я успела заметить и понять этот заботливый укоряющий взор".

Она испытующе смотрит на меня, пока я медленно читаю начало. Принимаю почти сразу — это ее заповедь мне. Все начинается с заповеди. Без заповеди не двинуться в правильном направлении. Она делится со мной опытом, от которого как бы предостерегает меня в самом начале.

Читаю дальше. "Тех, кто щедро и расточительно помогал мне, да и всем, кто попадался на добрые их глаза, — давно нет на свете. Сумею ли я посмотреть их любовным и охраняющим взглядом на тех, кто молод, на Веру Зубареву, например?"

Останавливаюсь на этом вопросе. Почему она сомневается в том, что несомненно? Если пишет все это, значит, может посмотреть на молодых "любовным и охраняющим взглядом". Вспоминается вдруг история с Ахматовой, как царица русской поэзии так и не удостоила встречи восходя-

щую звезду. Наверное, вопрос оттуда, из того времени, когда она, размышляя над этим, задавала его себе и, возможно, уже тогда и ответила на него. Но я-то ведь никакая не звезда, у меня даже и публикаций почти не было! Продолжаю чтение.

"Сначала я увидела ее стихи, воображение соотнесло их с морем и побережьем, с бликами, с хрупким чередованием блеска и тени. Прихотливый, независимый и несомненно ранимый мир открылся мне, явилась мысль о возможном обидчике воздуха и моря".

Мысль об "обидчике" удивила меня поначалу, но будущее подтвердило правоту ее опасений, хотя наряду с "обидчиком" всегда был и "защитник", и самым первым защитником была она, написавшая мне эту Охранную Грамоту. Как я узнала уже позже, она была защитницей по природе своей и самоотверженно защищала всех, включая и животных. На вечере ее памяти, который мы провели в Нью-Йорке на ее сороковины, Азарий Мессерер вспоминал, как она взяла на себя вину их собаки, чтобы той не попало от хозяев. Ее защитничество было безусловной характеристикой и распространялось оно на всех, кто нуждался в защите.

"И сама милая Вера очень понравилась мне! — пишет она дальше. — Я верю, что она слышит голос своей звезды, предвещающей удачу, но оберегающей от суеты, вздора, поспешности. Ее стихи — изъясление ясной и суверенной души, грациозно существующей в осознанном пространстве".

Голос звезды, оберегающей от суеты, вздора, поспешности... Одно из моих стихотворений цикла "Стихи о Саде и Садовнике" заканчивалось именно этой мыслью: "И прочь пойду во мглу, безвестность и скитанье, / Благословенна той, натруженной, рукой". Стихи писались задолго не только до встречи, но и звонка, и в них обдумывалась линия суеты и творческого уединения, и вопрос был решен в пользу последнего. А еще меня поразило в этих строках, что она словно прочитала напутствие, которое отец написал мне на моей первой тетради стихов. Оно заканчивалось следующими строчками: "Услышь, чего никто не слышит". "Она слышит голос своей звезды", — будто отвечая моему отцу, пишет она. Нет, это не обо мне тогдашней, и не обо мне сегодняшней. Это обо мне вне времени и пространства. Это о том, как я должна идти свой путь, не предавая голоса своей звезды. "Не дай мне Бог бесстыдства пред листом / бумаги, беззащитной предо мною..." (Б. А.).

Что же касается "осознанного пространства", о котором она писала, то именно одушевленное пространство, созданное по Слову и проникну-

тое своим Создателем, и было главным предметом моей поэзии. О чем бы я ни писала, моей первостепенной задачей является соткать одушевленное, мыслящее пространство, в котором невидимо присутствует Творец. Высший разум, и придает смысл пространству, если под смыслом понимать "со-мыслие", то есть интеграцию всевозможных мыслей в Высшем Разуме. Смысл жизни органично вытекает для меня из присутствия Творца, а бессмысленным является только пространство, в котором Создатель отсутствует.

Напутствие заканчивалось ее мечтой о выходе в свет моей книги.

"Я мечтаю и надеюсь, что у Веры Зубаревой выйдет книга. Чудесно, что это будет в Одессе! Само имя города кажется мне неопровержимо счастливой приметой".

Я держу драгоценный листок, в котором очерчен весь мой путь — от заповеди до благословения.

— Теперь я должна все это оправдать, — отвечаю на ее немой вопрос о том, что я думаю по поводу предисловия.

Она обнимает меня на прощание, и я уношу с собой ее свет навсегда.

Дома море радостно встречает меня. Оно все уже знает — ему нашептал об этом дуб зеленый из Сада. О встрече рассказываю только очень близким друзьям. Все, как завещано в Грамоте: моя жизнь протекает вдали от "суеты, вздора, поспешности".

И вдруг — телефонные звонки, один за другим — поздравления, поздравления, поздравления... С чем?

— Разве ты не знаешь? Твои стихи вышли в "Смене" с предисловием Ахмадулиной!

Вот это да... Значит, она сама отнесла стихи, ничего не сообщив мне, хоть мы и перезванивались, желая сделать мне сюрприз. Я была шокирована. Публикация вызвала большой отклик, стали приходить письма со всех уголков страны, журнал объявил меня Поэтом года, мою книгу принимают к печати... Звезда неусыпно следит за мной.

Все. Сад зовет. Рушится держава, разлетаются люди, как листья в осени, и ветер несет их по нашим одесским улицам в Чоп, и дальше, дальше...

— Я уезжаю, — сообщаю ей почти накануне отъезда в Америку.

Она вроде бы даже и не удивляется. Только говорит:

— Все будет хорошо... Верочка, у вас все будет хорошо...

Она знает, и я верю ей. Нас роднит единственность. Я уезжаю в единственность. У меня — Море, у нее — Сад, но общий знаменатель — един.

— Верочка, поцелуйте море!

Откуда это? Ах, да! Еще из той жизни... Я теперь в другой, за океаном, но мы по-прежнему встречаемся в Саду. "Я вышла в сад, но глушь и роскошь..."

Я декламирую эти строки, пока гуляю у собора в Брин-Атене и мечтаю, что она однажды будет гулять здесь со мной. Место — волшебное в прямом смысле. Здесь, по преданию, явился во сне ангел основателю собора священнику Питкерну, который и велел ему выстроить здесь храм. Всегда ощущаю присутствие Божественного, когда гуляю по его дорожкам. Вера в то, что моя мечта встретиться с нею здесь осуществится, крепнет с каждым разом, и я даже вижу ее, гуляющую здесь и читающую "Сад". А губы непроизвольно шепчут строки, и они оседают на травах, цветах, на короне собора, привораживая заокеанское пространство. И вскоре мечта воплощается.

1997-й... Они с Борисом прилетают в апреле, на ее 60-летие, и мы проводим три дня вместе. Все празднично — по ощущению, встрече, общению. К тому располагает и обстановка семейного круга. Мы вместе обедаем в доме устроительницы выступления Ахмадулиной в Филадельфии — Зои Германовны. Приезжают Арон Каценелинбойген и художница Ирина Френкель, моя подруга. Я почти не принимаю участия в общей беседе. В основном, слушаю и все еще не верю, что это уже не мечта. На следующий день запланирован вечер. Мы заходим за ней и Борисом и идем все вместе в синагогу, где уже ожидают толпы желающих ее послушать. Она очень оживлена, по-прежнему излучает свет, по которому так легко ее распознать.

Когда мы заходим в зал, мне предлагают открыть вечер и представить ее, но я отказываюсь наотрез. Мне это кажется нелепой затеей. И потом, я так много несу в душе и сердце в этот миг, что опасаясь говорить об этом даже ей. Но она все знает и без слов и, похоже, ценит отсутствие словесных излишаний гораздо выше.

Вечер проходит блестяще. Каждое стихотворение проживается и ею, и публикой на одном дыхании. Эпоха прорывается через нее, прожигает гортань, плачет, поет, замирает... В перерывах между чтениями она рассказывает о стихах и встречах с друзьями, живущими за океаном. Признается, что ей не хватает их. Она упоминает Аксенова и потом поворачивается к нам, и указывая на нас, произносит все с той же озорной улыбкой: "И еще. Вот они, сидят здесь, есть". Для сидящих в зале наши отношения были известны благодаря моей первой книге "Аура", которая вышла уже в Филадельфии с ее предисловием. Зрители одобрительно кивают.

— Так что, если вы не смогли приехать ко мне туда, то значит, я должна приехать к вам, — заключает она.

В зале аплодируют.

После выступления все бросаются к ней. Она что-то отвечает, кивает, благодарит... Мы с Вадимом оглушены взрывной волной прослушанного. Сидим поодаль, ждем, когда толпа рассосется. Вадим как раз приобрел видеокамеру, и весь ее вечер был записан на пленку. Сколько бы раз мы впоследствии не пересматривали его, впечатление не ослабевало, невзирая даже на неважное качество записи. Каким-то чудом ей удалось влить свою божественную энергетику даже в технически несовершенную аппаратуру..

Наконец возле нее остается небольшая группа прощающихся слушателей.

— Ну, как, ничего? — совсем по-детски спрашивает она меня, когда мы подходим.

Что же можно на это ответить? Я просто обнимаю ее и благодарю. Все остальное и так ясно.

На следующий день мы едем в Брин-Атен и гуляем там все вчетвером. Доходим до собора, заглядываем в его уголки, а когда выходим, она сбрасывает босоножки и легко бежит вниз по холму, устеленному зеленой травой. Всякий раз, когда я прихожу к собору, я вижу ее, как тогда, — сбрасывающую туфли и бегущую босиком навстречу Саду. И по сей день она там, словно волшебный дух парка навсегда впечатал ее образ в пространство Храма Трех Религий.

Заходим мы и в беседку, в которой я читала про себя ее "Сад". Она восторженно разглядывает вид сверху и вдруг декламирует: "Я вышла в сад...". Вадим изумлен: это точь-в-точь как я мечтала. Я же не удивляюсь — я радуюсь, что Творец Единственности внемлет нашим фантазиям.

Во время прогулки она расспрашивает меня о том, что я пишу. К тому времени у меня уже издано несколько сборников стихотворений, включая и "Трактат об ангелах" с рисунками Неизвестного, а также монография по чеховским пьесам на английском. Она одобряет мой переход на английский, говорит, что я должна продолжать писать на двух языках, включая и стихи.

Возвратившись домой, мы подписываем друг другу книги. Я дарю ей "Трактат об ангелах", изданный в Одессе на двух языках. Перевод на английский сделала переводчица поэзии Анны Ахматовой Фрэнсис Лэйрд. Она подписывает мне свой сборник, вышедший в США, тоже на двух языках.

Наступает миг прощания. Всего лишь миг в бесконечном и недискретном пространстве Встречи, где все существует монолитно как единое время в едином пространстве Сада.

Что делать нам с этой вестью? Смерть посягает на единственность. Она — апофеоз коллективного бессознания. Но Сад все равно сильнее, потому что она мгновенна, а Он — вечен.

Тристишье

Памяти Беллы Ахмадулиной

— Верочка, поцелуйте море!
Из телефонного разговора

* * *

Утра уже не отличить от ночи.
Земли — от неба.
Холмик города на обочине
Прикрыт простынею снега.
Доктора склонились над уходящей эпохой.
Медициной ли спасти историю?
Последняя попытка машинного вдоха,
А потом — к Морю, к Морю...

Не хочет плоть живучая, лукавая
про вечность знать...
Белла Ахмадулина

* * *

Из окоченелого пространства,
Где сердце уже не орган, а орган,
Глянуть мимо склонившихся,
Сказать "здравствуй!"
Тому, что казалось скорбным,
А потом ходить еще по земной привязи
Туда-сюда... (Не о том ли у Пушкина?)

Вот и конец этой странной жизни.
Будет ли что-то из нее отпущено?

* * *

Ну что еще сказать?
Все сказано навеки.
По досточке строки
Идти не вдаль, но вглубь.
Так попадают в сад
Из комнаты по ветке,
Чтоб зажигать луну,
Слетающую с губ.
Все кончено. Окно
Глядит в другое небо.
Туда не подсмотреть.
И заколочен сад,
И в скважине ночной
Ключ к Дому заповедный,
И обнаружен код.
И нет пути назад.

30 ноября – 3 декабря 2010

Стихи о Саде и Садовнике

Белле Ахмадулиной

Мне сказали, что Садовник
Обошел свои владенья
И пошел по той дороге,
Что уводит в пред-рассвет.
Мне сказали, это было
Ровно в полночь, в воскресенье,
И об этом точно знает
Всякий сведущий сосед.

— А какое было небо? —
У соседа я спросила.

— Небо было, как на полночь, —
Отвечал, сердясь, сосед.

— Что он взял с собой в дорогу?
За плечами что-то было?

— Ничего... — сосед подумал
И смутясь, добавил: — Свет.

Поняла, что в воскресенье
Разлилась луна по саду
И Садовника манила
Той, обратной, стороной.
Ждать его навряд ли надо —
Он пошел искать рассаду
И раскланиваться станет
Только с ночью и луной.

